

9. КЛАССИКА АНТИСТАЛИНСКОГО ГОДА.

Владимир Тендряков. *«Ухабы»*

Придумано много способов сделать уже вышедшую книгу как бы несуществующей; главные на Руси — изничтожить печатно или замолчать.

Часть книг, не самых опасных, как правило, шельмовали, «прорабатывали». Как Дудинцева. Но самые опасные — изымали из библиотек или замалчивали; хвалили в «Литературке» так, что отбивали у читателя желание даже раскрыть книгу, — утаивая то, ради чего книга написана...

О таких — лучших — книгах не ведали порой в русской глубинке даже учителя литературы.

Подобное произошло с повестью Владимира Тендрякова *«Ухабы»*, хотя на Западе ее перевели почти сразу — в 1957 году.

Владимир Тендряков — теперь это, к счастью, многим известно — один из самых талантливых современных художников слова; один из самых стойких и честных писателей России; он был также и членом редколлегии сборника *«Литературная Москва»*, не пошедшим ни на какие уступки...

В повести *«Ухабы»* Тендрякова действие разворачивается в городке, отрезанном затяжными дождями от большой земли; в дождь из магазинов исчезают соль и керосин, в Доме культуры перестают показывать кино, письма приходят с опозданием в два-три месяца: до станции железной дороги 50 километров размытого лесного проселка...

Шофер Вася Дергачев едет к чайной — наловить перед дальней поездкой «лещей». «Наловить лещей» — это взять попутных пассажиров. В такой глуши шофер — единственный владыка, царь крошечного государства — кузова автомашины. И каждый, кто попал в кузов, обязан платить дань.

«Лещей» сколько угодно. И все разные: директор МТС Княжев, у которого своя машина сломалась, старушка с корзиной, младший лейтенант, увозящий из родной деревни молодую жену, наконец, здоровый парень, вокруг которого и начнет потом закручиваться сюжетная спираль.

Очарование тендряковской прозы охватывает читателя с первых же страниц. Вот устраивается в кузове баба с корзиной, полной яиц. Толкает бесцеремонно соседа:

— Эко растопорщился! Сам тощей, а места занял, как баба раскормленная. Сдвинься-ко, сдвинься, родимушко.

Лейтенант, естественно, пытается командовать — красоваться перед молодой женой:

— Наташа, вот здесь сядешь. Ноги сюда протяни. Эй, красавицы, потеснитесь! Нет, нет, давай сядем так... чемоданы поставим на попу».

Описание дороги воспринимается как символ российского бездорожья, российской беды.

«Дорога! Ох, дорога!

Глубокие колесные колеи, ни дать ни взять ущелья среди грязи, лужи-озерца с коварными ловушками под мутной водой, километры за километрами, измятые, истерзанные резиновыми скатами, — наглядное свидетельство бессильной ярости проходивших машин.

Дорога! Ох, дорога! — вечное несчастье Густобровского района. Поколение за поколением машины раньше срока старились на ней, гибли от колдобин, от засасывающей грязи».

Чудовищное бездорожье подкарауливает каждого... Страница за страницей посвящены ужасной дороге, и от этого ощущение символичности дороги, по которой движется Россия, становится уже не проходящим ощущением...

Дорога — каждый метр с боя...

Хотя нигде описание не выходит за рамки реалистического отображения, однако Тендряков заставляет нас задуматься не только об этой дороге, но и об исторических дорогах России...

В одном из пунктов шофер размечтался; он уже видел, как преодолеет вот тот камень, вот тот пригорок. Это обычный немудрящий литературный прием, сценический прием — розовые мечты шофера, уводящие читателя от мысли о возможном несчастье. А несчастье — вот оно, на Тыркиной горе машину перевернуло, она завалилась набок; каждый пассажир, которому автор посвятил в самом начале две три фразы, начал мыкать горе в соответствии со своим характером.

Но как точно наметил их Тендряков, эти характеры, как угадал!

Лейтенант начинает кричать: «Кто вам доверил возить людей? Вы не шоф-фер! Вас к телеге нельзя допустить, не только к машине». Он еще долго что-то кричит, его пытаются утихомирить, и вдруг говорит старушка-крестьянка, у которой тоже все, что везла с собой, перебито-переломано: «А офицерик-то за свои чемоданы обиделся».

И в это время послышался из-под опрокинутой машины сдавленный стон.

Старуха первой расслышала стон и зачастила скороговоркой: «Святители! Угодники! Матерь божья! Да ведь тут парня пришибло! Вот те крест, пришибло! Детушка ты мой родимый, лежи, голубчик, не поужай себя... Люди добрые, да скорейча идите!»

А дальше происходит то, что заставило меня, когда я перечитывал повесть, вспомнить «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. те страницы, на которых Солженицын описывает, как вышибли у него в военной школе все человеческое. «Нарос жир на сердце, как сало на свинье». За двадцать лет до Солженицына прочитали мы о подобном у Тендрякова.

Раненого, придавленного машиной парня хотят нести, и снова лейтенант подает начальственный голос: «Мы не должны никуда нести... Для суда важно, чтобы все оставалось на месте, как есть».

Как зорко увидел Тендряков это обезчеловечение армейской спесью.

Понесли носилки: постоял обезчещенный народом лейтенант, а потом, устыдясь, бросился за остальными, помогать нести.

И как сразу изменились к нему крестьянки. Они еще ругаются, скорее по инерции: «Проняло субчика». «Совесь заговорила». «Девка-то душевная ему попалась». «Этакие хлюсты всегда сливки снимают». Но уж ведут себя совсем иначе. «Старуха, со вздохом завязав пустую корзинку платком, поднялась, подошла к раскрытому чемодану.

— О-хо-хо! Добришко-то у них распотрошило. Собрать надо, родные. Тоже ведь, чай, на гнездышко свое копили. О-хо-хо!..

В повести нет ни одной лишней подробности: в самом начале описана проволока, которой закручен борт; казалось, к чему она, эта проволока; а именно за нее и зацепился сапогом парень, когда хотел выскочить из машины. Потому его и придавило. Лишь несколько строк посвящено плащу заготовителя, садыщегося в машину, — оказалось, плащ-то и станет самым необходимым предметом — брезентом для носилок, на котором понесут парня.

Но вот нарастает драматизм, и повествование обретает глубину все большую.

Директор МТС Княжев нес носилки вместе со всеми, проявил и распорядительность, и мужество, и человечность, и вдруг он предстает перед нами совсем другим человеком...

Спасти придавленного парня может только трактор, который пощит в больницу по грязи сани с носилками. Люди идут к Княжеву, который уже сидит в своем кресле председателя МТС. Это самые важные страницы повести, напомним их:

«Княжев поднялся из-за стола. Он был в той же гимнастерке, в которой нес больного, мокрый и грязный плащ висел за спиной, на стене...

— Николай Егорович, — заговорил Василий, — плохо дело. Надо

срочно отправлять парня в густобровскую больницу на операцию. Фельдшерка побежала звонить хирургу.

Княжев сожалеюще причмокнул, но ничего не ответил...

Василий почувствовал неловкость не за себя, за Княжева. Тот хмурился, прятал глаза.

— Трактор дайте. Единственный выход, — решительно сказал за спиной Василия лейтенант.

— Трактор? М-да-а... Трактор-то, ребятки, не транспортная машина, а рабочая. Никак не могу распорядиться государственным добром не по назначению.

— Николай Егорович! — Василий почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. — Человек же умирает! Не мне вам это рассказывать. Нужен трактор с прицепом. Ежели вы его не дадите, ведь умрет же...

... — Николай Егорович! — Василий вот-вот готов был расплакаться. — Трактор-то нужен не для кирпичей, не для лесу. Неужели думаете, что вас кто-то упрекнет, что вы дали трактор, чтобы спасти от смерти человека.

—... Не могу рисковать. Сорву график работ. Оставлю колхоз без машины. Нет, друзья, за это по головке не погладят...

Уже в спину Княжев бросил:

— Я помог на место доставить, свой гражданский долг выполнил...»

Итак, Княжев как личность человечен, надежен, как директор МТС — бездушный *рычаг*... Рычаг бесчеловечной системы — в лучших произведениях советской литературы эта тема возникает неизменно.

У Тендрякова она имеет интереснейшее продолжение. Шофер Василий и лейтенант решили жаловаться на бездушие Княжева. Кому жаловаться? Прежде всего, конечно, советской власти. Отыскали председателя сельсовета, чтобы он усовестил Княжева именем высокой власти... Он жил при сельсовете, в бревенчатой пристройке, вышел при первом же стуке.

— Эх, дорогие товарищи, — председатель скорбно покачал головой. — Ну, скажу, а он мне: в районе тоже, мол, советская власть, и крупнее тебя, сельсоветский фитиль, потому не чади тут... Николай Егорович здесь сила, мы все у него где-то пониже коленок путаемся...»

Тогда пошли искать милицию. Милиция ведь — это уж точно государство. Не должно оно позволить Княжеву добить человека.

Лейтенант горячо объясняет участковому, что Княжев, не давая трактора, убивает человека...

«— Так! — обрубил участковый горячую речь лейтенанта. — Обь-

ясняю пункт за пунктом. Требовать трактор прав мне не дано... Без письменного распоряжения мои действия будут незаконными...

— Пошли, лейтенант, — сердито произнес Василий.

... Нет, обождите! (остановил их участковый. — Г.С.). Тут еще надо разобраться, раскрыть виновного. Я обязан задержать шофера, сесть и спокойненько, пункт за пунктом, нарисовать протокол...

Василий застыл в дверях, а лейтенант круто обернулся, тихо и внятно произнес:

— Нарисовать бы на твоей сытой физиономии. Протокол важен, а не человек... Пошли!..»

Милиция, как видим, готова только акт составить, но — спасти человека?!

В общем, все приходят к выводу, что Княжевых не прошибешь. Автор, как бы незаметно для читателя, говорит уже не Княжев, а во множественном числе — Княжевы.

«— Таких Княжевых не уговаривать нужно! Я бы его, подлеца, под конвоем к прокуроору! — негодует лейтенант.

— Мертвое дело. Не прошибешь. Давайте думать, как самим вывезти».

И тут впервые, единственный раз в повести, вступает в дело писательская оглядка. на демагогическую критику, на разбой официальной прессы. Автор, надо отдать ему справедливость, не изменив большой правде, тем не менее поспешил снять с себя будущие стереотипные наскоки демагогов: де, где парторганизация?! Не принял ее во внимание, обошел...

Лейтенант, обегав все село и нашумев, отыскал секретаря парторганизации и вообще поднял на ноги всех МТСовских коммунистов.

Раздобыли при помощи парторганизации трактор. Да только поздно. Не помогла парторганизация, словно ее и не было вовсе...

Повезли раздавленного парня на санях, прицепленных к трактору, да не донесли. Оттянула ему веки фельдшерица, увидала, что мертв уже.

... Прошло немало времени, пока добрался к ним пешком, по грязище хирург, вызванный из районной больницы. Выслушал о том, что произошло, и сказал о Княжеве, заклеил его яростными словами автора:

— Бюрократ!.. До убийцы выросший бюрократ!»

«Ухабы», на мой взгляд, — самое глубокое, самое беспощадное произведение советской литературы послесталинских лет. Его можно поставить рядом разве что с повестью «На Иртыше» Сергея Залыгина, о которой еще буду писать.

О чем оно? О том, что остались в СССР до убийц выросшие бюрократы? Да, но об этом есть у Дудинцева и у других.

У Тендрякова обнажен и более глубокий пласт. *Появился новый класс людей, который узурпировал народную собственность, спекулирует словом «народный», «государственный». «Никак не могу распоряжаться государственным добром не по назначению». Использует отнятую у народа, обобщенную собственность против народа — даже когда речь идет о жизни и смерти человека.*

Так прямо, так художественно убедительно о смертельной вражде руководящего слоя простому человеку писатели еще не говорили...

Как поступили с опасным произведением оторопевшие руководители ЦК? По разработанным шаблонам, о которых говорил: хвалили, скрывая суть произведения, почти замалчивая. В «Литературке» позднее появились шуточные стихи: «Он едет, ширятся масштабы. И молят братья по перу: — Перевалив через «Ухабы», ты нам пришелся ко двору».

Тендрякова пытались даже выдвинуть на Ленинскую премию; при одном условии: чтобы он отмежевался от «Литературной Москвы»; мол, не имею я со всякими Казакевичами—Алигер ничего общего.

Владимир Тендряков не отмежевался; тогда-то его и перестали замечать. Надолго.

Сейчас Тендрякова, одного из самых талантливых народных писателей, не только на Западе плохо знают, но и в России многие начали забывать, хотя его иногда и переиздают, и изредка хвалят — испытанным способом...

Он никогда не мелькает в прессе, как другие. Не произносит речей на съездах. Даже подписи под «коллективным» писательским гневом от него не добьешься. Так ни разу и не добились! За что ж такого славить?!

Свирский Г. Классика антисталинского года : Владимир Тендряков «Ухабы» // На лобном месте : литература нравственного сопротивления, 1946–1986. Литература войны, 1941–1945 / Г. Свирский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1998. – С. 141-146.